

Сергей ПОПОВ

ДАЛЬНИЙ РАЙОН

Гудит – не смолкает упрямая медь
по фильмам, где стоит ли тётю иметь,
вопрос понимается прямо.
И в камере строит Леонов козу,
и Буба глазееет на горы внизу,
где зреет воздушная яма.

И непоправимый плывёт звукоряд,
где титры под занавес дико горят,
но свет не включается в зале.
И переполняет стрельба темноту,
и прочь от шерифа летит Виннету,
чтоб вскроссти не повязали.

Мелодия тьмы и разрывы кругом
во времени сосуществуют другом,
и парятся парки другие,
чтоб не прекращало слепое кино
накручивать нитку на веретено
раскрученной драматургии.

Там были большими деревья вокруг,
где ветки вовсю отбивались от рук –
и нынче не видно массива.
Но музыка этих невидимых сфер
сама по себе укрупняет размер
того, что смотрелось красиво.

И родина – это лишь зреньё и слух,
покуда земля превращается в пух
во славу экранного чуда,
где старые титры горят как вода,
а стало быть, не уплывут никуда
от радости из ниоткуда.

Сергей Попов родился в 1962 году. Окончил Воронежский медицинский институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Живет в Воронеже. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Новый журнал», «Интерпоэзия», «Арион», «Новая Юность», «Новый берег», «Воздух» и др. Автор многих книг стихов и прозы, в том числе «Крылья над крышами. Избранная проза» (Воронеж, 2021), «Вся печаль. Книга стихов» (М., 2021). Предыдущая публикация в «Волге» – стихи (2011, № 11-12). Живет в Воронеже.

Свет, разделённый на капли,
в тёмном сыром ивняке.
Гордая выправка цапли,
птичьи над лесом пирке.

Здорово кануть без спросу,
сладко размять вопреки
на берегу папиросу
с Летою схожей реки.

Дождь на летейские воды
сеется, скуп и упрям.
Завоевание свободы –
донные каверзы ям.

И по теченью незнамо
где ожидать виража.
Новая жизнь или яма?
Пауза или межа?

Время дымится как детский карбид –
от выгорающих заживо звёзд
не остаётся ни бед, ни обид –
только заоблачный пепел внахлест.

Только полуночный свет в никуда –
яркая россыпь на чёрном стекле,
где выкипает живая вода
землеустройства в небесной золе.

По чертежам и лекалам огня
мёртво устроена здешняя ночь,
где очевиднее день ото дня,
что возгоранье не в силах помочь.

Пишется *дом*, а читается *дым* –
если в начале прописан финал,
нечего делать в огне молодым –
Хронос не эту войну начинал.

Если стекло беспощадно поёт
и запекается кровь темноты –
значит, рассветный невидимый йод
нового неба выводит черты.

Точно античной трагедии тьму
можно разрушить раскладом светил...
Кровь наказуема – и потому
так и никто её не защитил.

Дыханьем опалён,
под пагубу заточен,
шарахается клён
от дождевых пощёчин.

Кипящая листва
небесною водою
одною и жива
над блажью молодою.

Под кроною двоим
спасительное место,
ведь выпавшее им
покамест неизвестно.

Определений гнёт,
безумия обновления...
И двигаться вперёд
нельзя без остановки,

пока свои грехи
вынынчивают дети,
пленительно легки
на выстуженном свете

у призрачных дорог
и к лаврам, и к оливам,
чтоб выделенный срок
мерещился счастливым,

ведь присно клекотать
намерена вдогонку
слепая благодать
кромешному ребёнку,

где вся господня речь –
удары ветровые,
когда потоп оплечь,
но родственны впервые

и чёрная кора,
и чуткие корни,
и страшные ветра
иного измерения,

и от разрядов ночь
ни дольше, ни короче,
но сын её и дочь –
опровержение ночи.

Время идёт по верхам и вбок,
кроны режут навзрыд.
Всё образуется, видит бог,
с пением аонид,
с опровержением немоты,
с опережением тьмы.
Прикорневые дрожат кроты,
трудят свои умы.
Что за умение – вкривь да вкось –
а по-иному – нет?
Всё, что горит, оторви да брось
в жерло ушедших лет.
Там, где подземный гудит костёр
и от слезы рябит,
страх меж корнями распростёр
нити своих орбит.
Что за несносный на небе рёв –
будто бы, озверев,
время заполнило до краёв
всю высоту дерев.
И притаясь в языках огня,
всё низвело дотла,
чтоб наблюдатель, золу храня,
правил свои дела.
«Всё образуется, – говорил,
точно слепец какой. –
Слову не надобно стрел и крыл,
будет ему покой.
Жизнь – это лава, а не слова –
в том она вся и есть,
что на разрыв голосит листва.
Это благая весть».

И в Петергоф, и в Павловск заносила,
гнала в галоп сквозь парки и дворцы
сплошная блажь, нечаянная сила
глазной чумы и шалой зеленцы.

Лукавый пламень спутницы забытой
по перекрёсткам горя от ума
сквозной любовью, яростной обидой
ложился на картины и тома.

Чай-чифирёк, омлеты за копейки,
гостиниц полуночные ветра.
Свинцом безумья налитые веки
и дурнота под ложечкой с утра.

И сыпались из памяти ночлеги,
когда мелькали Зимний и Нева
в экскурсионном бешеном разбеге,
где пятки в кровь и кругом голова.

И вся в крови, история престола
грудину жгла и выжимала пот,
хотя и проще было бы простого
от лишних отбояриться забот.

Но жизнь вприпрыжку – жуткая отравка:
сезон сознаньем беден и бедов –
катиться влево, пляться направо –
повсюду свет у кромки холодов.

И всё видны сквозь выходки нахалки
в гостеприимном мире без границ
пакет вина, бутылка минералки
и упаковка павловских яиц.

День искрит, сгорает – и был таков.
Подступает всеночный стыд и срам.
И Сергей Иванович Маклаков
а ресторане «Парус» берёт сто грамм.

Он блажит в буфете, уходит в зал,
на эстраду плячется неспроста.
Он завязывал, только не завязал –
нет на вечном деятеле креста.

Он «Жемчужным» делает знак рукой,
и подходит у столику Николай
при кресте и гоноре весь такой –
и огнём она вся печаль пылай.

Воскресает мёртвый цветок любви,
корамыслом дым ушибает в ноль –
так не плачь, как водится, не зови
и у бога не вопрошай – доколь...

Музыканты зыблются на волне,
и смывает прожитое волна.
«Так давай по новой за тех, кто не...
Но потом отплакал своё сполна».

Невской грязи отблески хороши,
У Тучкова сумрачны облака.
И кругом вдоль берега – ни души,
и душа стремительна и легка.

«Так давай запишем – уедет влёт –
уши есть развесить у нас кому...
А иначе вскорости масть пройдёт,
и на нищем будешь лабать корму».

И утюжат Ждановскую ветра –
до квартирных студий рукой подать...
От больного зрения во вчера
эта не укроется благодать.

Там Аркадий блещет срамной слезой,
и строчит остроты проныра Фукс,
И хозяин хаты, с утра косой,
громоздит заслуженный перекус.

И началом определив начал
круговое самозабвенье всласть,
квасят прожигатели по ночам,
чтобы песня пепельная сбылась.

Эти сумерки больные, эта каша,
этой жизни полувывертая нить...
Этот бедный полуспившийся Аркаша,
что сюда приехал вас развеселить.

Он, конечно, будет много побогаче
истых плакальщиков – этих или тех –
речь всего-то лишь о песне – не о плаче,
но слезами умывается успех.

Эта лёгкая развязная походка,
папироски-сигаретки без границ,
эта каша в голове у самородка,
непрописанного жителя столиц.

Он запустит баритончик под бобину,
а потом переберётся на верхи –
и слабаёт лишь едва ль наполовину,
а печали сразу славны и легки.

Охраняет этот песенный осадок
до кости осатанелое нутро...
И назло всем шайкам-лейкам неполадок
сивый бес всюду вселяется в ребро.

Портвешок ли, веры муть ему награда –
не вернуть теперь невинных тех забав...
Рвать оставшиеся волосы не надо –
чем силён был бесквартирный, тем и слаб.

Дым и пепел, там где кровью сладких ягод
крематорские динамики полны...
Без огня здесь тонкокожие не лягут –
слишком холодно в объятиях страны.

День на день не приходится больше.
Ночь за ночью не спится сполна.
Переводчица родом из Польши.
Пикировка на все времена.

Речи про посполитские войны,
плеч шляхетская лепка вблизи...
Пани Мнительность, будьте спокойны –
всё с контекстом у нас на мази.

Этой книги сквозная интрига
точно бранного поля трава –
по краям чужеземного ига
без разбору бушуют слова.

И под утро – не конны, а пеши –
стынут тени на стенах времён.
Из издательства злые депеши
добираются в дальний район.

Но покуда запястье гордячки
цепенеет в кацапской горсти,
ни в цветочной, ни в белой горячке
и дыханья не перевести.

Несмышлёных, ослепительных подданных
расставание не в силах отменить,
и для Клио, переклинненной на датах,
равноправна и оборванная нить –
задрожала, перетёрлась, отлетела
в мир, что май себе не мыслит без труда,
а идея. как физическое тело,
до последнего дыхания тверда –

шелопутных, уморительных, нездешних,
колготую приближающих распад,
где в хрущёвских упоительных скворешнях
выясняли, кто на деле виноват –

это детство, это свинство, это ярость,
бесконечная тоска по волшебству
и уверенность, что Хронос – это Янус,
лица прячущий в июньскую листву –

а в безумье – это вроде как при деле,
чтоб играло и не видело дитя
то, как звёзды беззастенчиво редели
и проваливались в прошлое шутя –

выцветали, забывались, исчезали,
чтоб слепые созерцатели светил
вдруг оказывались будто на вокзале,
где никто за расписанием не следил –

торопились, переругивались, пёрли,
направления меняли на ура
без пустого перехватыванья в горле
от немыслимо красивого вчера –

бестолковились, метались, попрекали
допотопным неумением поймать

птицу ненависти голыми руками,
кроя выпавшее в бога душу мать –

глупой парки беспорядочную пряжу,
«Нашей марки» несусветный никотин,
правоты необъяснимую пропажу,
запредельное усердие седин –

и протянутые в будущее руки
умывали заржавевшую водой,
и оправдывали ржавчину разлуки
сокрушительною божьей правотой.

Silentium

За маму, за папу, за деда пихто
пить пятничный воздух, напялив пальто,
тупить, пустоту принимая –
дорога прямая.

Под пасмурным, позднефевральским, стальным
на зависть воронам и всем остальным
для звука немеренно пищи
в его безразмерном жилище.

И если внезапное прянет ау,
то проще простого уйти наяву
в словарное краткое эхо,
как в изморось – вежа.

За брата по голосу и за сестру
стареть до субботы, курить на ветру,
верстая к воскресной надежде
умолкшее прежде.

Коль во сне зацапаешь егозу,
главную на голубом глазу –
потускнеют чёрные небеса,
чтоб наглей сверкали её глаза.
Чтоб швырялись жёлтым огнём зрачки,
грудь ходила часто и горячо,
а кометы чуть ли не у щеки
перемахивали через плечо.
Сколь по жизни сдуру не егози,
а светила – как ни крути – вблизи.
Это злая девочка подтвердит,

маякуя мёртвым своим глазком –
перевёртыш, оборотень, троглодит
с кровожадным приторным языком.
Тьма слюны рассеяна между звёзд,
напряжений призрачных ягодиц.
Кто ловил судьбу за кометный хвост –
ни краёв не знал, ни земных границ...
Растворялся, то есть пускался в пляс
по кромешным весям, нестрашным снам –
никакой проблемы, что свет погас –
о вселенских ваттах вопрос не к нам.
Пусть горят, сверкают, играют вне
поля зрения, мимо нейронных дуг –
в световом поту, в теневой волне,
не умея выбрать одно их двух.

Выходит, что будто бы крайний в ряду,
что больше сюда никогда не приду –
к объятиям вслед за дешёвым вином,
к забвению филологическим сном –
всё было в бреду.

И если написано так на роду,
что преображенье важнее потерь,
сочту отошедшее за ерунду –
чего уж теперь.

Вовсю забавляя окрестных ворон,
где психике невосполнимый урон
забавной судьбой нанесён,
шагаю по линии странных огней.
И если вся эта история – сон,
то что же за ней?

Всё очароанье осенней поры
срывается походя в тартарары –
и это ничуть не беда,
когда зарекаешься от мишуры
и от возвращенья сюда.

Когда ни любви не в масть, ни ряды,
и лишь отголоски былой ерунды
стреляют в крови,
тесны посиделки, напрасны труды –
хоть пей, хоть реви.

Прошедшее предполагает объём,
но страсти себя обнаруживать в нём
лишь только начни уступать –
и артериальная метким огнём
всё выжжет опять.

Слова не влекут, времена не текут,
и определённо, что гитлер капут,
а мир – это труд или май.
И лишь систолический грозен толчок
и узок от будничных вспышек зрачок,
глаз не поднимай –

смотреть, как ряды и любви горят,
судьбу загоняя в один звукоряд,
где звук – и забава, и дрожь,
страшнее, чем слушать разрывы вдали
и связывать их с воспитаньем земли,
в которой любви ни на грош.